

пока даётся нам задаром
всё, что отмерено живым,
и брызги позднего заката
скользят лениво и покато
по пыльным стёклам лобовым.

Стынет чай, машина не заводится,
некогда наряды выбирать,
и в такую рань вставать приходится,
чтобы позже было умирать.

Нет ли, боже, лишнего билетика
на ближайших три десятка лет?
У меня хорошая генетика –
жить да жить, прищурившись на свет.

Лёгкий нрав, генетика хорошая,
утро, полотенце на спине
за плечо небрежно переброшено –
белый стяг на крепостной стене...

Не говори: «Всё тлен, пустое!» –
а помни правило простое,
что всё не зря сотворено,
а все неясности с твореньем
проверить можно удареньем
луча, светящего в окно.

Окно в замызганной «тойоте»,
где след кошачий на капоте
и детских креслиц маета,
и в каждой запертой коробке
в тщите автомобильной пробки
на переезде, у моста,
и в каждом драндулете старом –

В молитвах жадного рассудка
и сердца, сжатого в горсти,
всего важнее промежутки –
дыхание перевести,
прервать несмело разговоров
стремительный круговорот
пробелами, небесным сором
прозрачных пауз и пустот
под кожей, в клетках, в хромосомах,
в синкопах сбивчивых шагов,
в чередованиях невесомых
бегущих по воде кругов...

Среди долины смертной тени
лишь там отыщется ответ,
где слов неплотное плетенье
неволью пропускает свет.

На поводке коротком
живу вчерашним днём
в решительном и кротком
молчании своём,
когда сквозь угасанье
сегодняшнего дня
отчаянно-надсадно
ты смотришь на меня.

И дождевые капли,
лаская нас с тобой,
мучительно бестактны
в их нежности слепой.

Так удобно творить в закутке между тьмою
и светом –
полутьма, словно ретушь, таит паутину
и хлам...
Может, мне никогда и не стать настоящим
поэтом
с этой детской потребностью всё разложить
по местам.

Так привычно в уюте и затхлости кухонной
норки
над потертой клеёнкой витийствовать
на посошок,
только всё же я ставень открою тяжёлые
створки,
чтобы свет апельсиново-горький все стёкла
зажёг.

Этих окон высоких с потёками масляной
краски,
если я поднажму, то с трудом приоткрою
на треть
деревянные рамы с остатками старой
замазки –
в робкий хаос листвы, лишь его я готова
терпеть.

Мне придётся стареть и, наверно, меняться
с годами,
но всё чаще и чаще ночами я вижу во сне
этот дом,
где высокие окна моих ожиданий
и упрямая ясность квадратов зари на стене.

Если жить в одном городе много лет
и носить на помойку ненужный скарб –
всё равно пожитки, судьба, тоска
нарастают кольцами на стволе.

Здесь у каждой лестницы свой сюжет,
у скамейки-сплетницы, чур её,
и на заколоченном этаже
здесь моё безвременное жильё.

Улица к оврагу ползёт ничком,
третий дом с оградой, не на виду,
я всегда входила туда бочком,
недоумевая, зачем иду.

Ничего там не было моего,
кроме отражений в ночном стекле,
просто безобидное воровство
из мешка с подарками на столе.

Там диван с обивкою голубой,
под диваном туфля, что мне мала.
Уносила краденое с собой,
не могла припомнить, зачем взяла.

Как-то проходила там по пути,
а овраг засыпали, дурачьё,
что-то вдруг забрезжило впереди,
чьё-то отражение, только чьё?

Да разве можно угадать
и незаметно знак подать
тем, кто уходит наспех,
дверь оставляя настежь?

Да как же их предупредить,
тех, кто повадился бродить,
плутать земною кромкой,
где рыхлый снег бахромкой,
где легче лёгкого сглупить
и не туда ногой ступить,
а наледь, словно сито,
до дыр уже размыта,
бумажный край и водоём,
куда однажды соскользнём?

Любимые наши – щека заскорузла,
не названы сроки,
объятыя крепки,
объятыя – тиски каменистого русла,
прощальный виток уходящей реки.

Уже нам отмерены брутто и нетто,
синица в руках и ответ впереди,
кто первым на веки положит монеты
другому, с притихшей синицей в груди.

Когда б намекнули в последнем абзаце,
когда б мы умели читать между строк –
кому с тишиною в груди оставаться?
Солги мне, что вырван последний листок.